

# Мемуары императрицы Екатерины II



## Часть I



Счастье не так слепо, как его себе представляют. Часто оно бывает следствием

длинного ряда мер, верных и точных, не замеченных толпою и предшествующих событию. А в особенности счастье отдельных личностей бывает следствием их качеств, характера и личного поведения. Чтобы сделать это более осязательным, я построю следующий силлогизм:

качества и характер будут большей посылкой;  
поведение — меньшей;

счастье или несчастье — заключением.

Вот два разительных примера:

Екатерина II,

Петр III.

\* \* \*

Мать Петра III, дочь Петра I, скончалась приблизительно месяца через два после того, как произвела его на свет, от чахотки, в маленьком городке Киле, в Голштинии, с горя, что ей пришлось там жить, да еще в таком неудачном замужестве. Карл Фридрих, герцог Голштинский, племянник Карла XII, короля Шведского, отец Петра III, был принц слабый, неказистый, малорослый, хилый и бедный (смотри «Дневник» Бергхольца в «Магазине» Бюшинга). Он умер в 1739 году и оставил сына, которому было около одиннадцати лет, под опекой своего двоюродного брата Адольфа-Фридриха, епископа Любекского,

герцога Голштинского, впоследствии короля Шведского, избранного на основании предварительных статей мира в Або по предложению императрицы Елисаветы.

Во главе воспитателей Петра III стоял обер-гофмаршал его двора Брюммер, швед родом; ему подчинены были обер-камергер Бергхольц, автор вышеприведенного «Дневника», и четыре камергера; из них двое — Адлерфельдт, автор «Истории Карла XII», и Вахтмейстер — были шведы, а двое других, Вольф и Мардефельд, — голштинцы. Этого принца воспитывали в виду Шведского престола при дворе, слишком большом для страны, в которой он находился, и разделенном на несколько партий, горевших ненавистью; из них каждая хотела овладеть умом принца, которого она должна была воспитать, и, следовательно, вселяла в него отвращение, которое все партии взаимно питали по отношению к своим противникам. Молодой принц от всего сердца ненавидел Брюммера, внушавшего ему страх, и обвинял его в чрезмерной строгости. Он презирал Бергхольца, который был другом и угодником Брюммера, и не любил никого из своих приближенных, потому что они его стесняли.

С десятилетнего возраста Петр III обнаружил склонность к пьянству. Его понуждали к чрезмерному представительству и не выпускали из

виду ни днем ни ночью. Кого он любил всего более в детстве и в первые годы своего пребывания в России, так это были два старых камердинера: один — Крамер, ливонец, другой — Румберг, швед. Последний был ему особенно дорог. Это был человек довольно грубый и жесткий, из драгунов Карла XII. Брюммер, а следовательно, и Бергхольц, который на все смотрел лишь глазами Брюммера, были преданны принцу, опекуну и правителю; все остальные были недовольны этим принцем и еще более — его приближенными. Вступив на русский престол, императрица Елисавета послала в Голштинию камергера Корфа, вызвать племянника, которого принц-правитель и отправил немедленно, в сопровождении обер-гофмаршала Брюммера, обер-камергера Бергхольца и камергера Дукера, приходившегося племянником первому.

Велика была радость императрицы по случаю его прибытия. Немного спустя она отправилась на коронацию в Москву. Она решила объявить этого принца своим наследником. Но прежде всего он должен был перейти в православную веру. Враги обер-гофмаршала Брюммера, а именно — великий канцлер граф Бестужев и покойный граф Никита Панин, который долго был русским посланником в Швеции, утверждали, что имели в своих руках убедительные доказательства, будто Брюммер с тех пор, как увидел, что императрица решила объявить

своего племянника предполагаемым наследником престола, приложил столько же старания испортить ум и сердце своего воспитанника, сколько заботился раньше сделать его достойным шведской короны. Но я всегда сомневалась в этой гнусности и думала, что воспитание Петра III оказалось неудачным по стечению несчастных обстоятельств. Передам, что я видела и слышала, и это разъяснит многое.

Я увидела Петра III в первый раз, когда ему было одиннадцать лет, в Эйтине, у его опекуна, принца-епископа Любекского. Через несколько месяцев после кончины герцога Карла-Фридриха, его отца, принц-епископ собрал у себя в Эйтине в 1739 году всю семью, чтобы ввести в нее своего питомца. Моя бабушка, мать принца-епископа, и моя мать, сестра того же принца, приехали туда из Гамбурга со мною. Мне было тогда десять лет. Тут были еще принц Август и принцесса Анна, брат и сестра принца-опекуна и правителя Голштинии. Тогда-то я и слышала от этой собравшейся вместе семьи, что молодой герцог склонен к пьянству и что его приближенные с трудом препятствовали ему напиваться за столом, что он был упрям и вспыльчив, что он не любил окружающих, и особенно Брюммера, что, впрочем, он выказывал живость, но был слабого и хилого сложения.

Действительно, цвет лица у него был бледен и он казался тощим и слабого телосложения. Приближенные хотели выставить этого ребенка взрослым и с этой целью стесняли и держали его в принуждении, которое должно было вселить в нем фальшь, начиная с манеры держаться и кончая характером.

Как только прибыл в Россию голштинский двор, за ним последовало и шведское посольство, которое прибыло, чтобы просить у императрицы ее племянника для наследования шведского престола. Но Елисавета, уже объявившая свои намерения, как выше сказано, в предварительных статьях мира в Або, ответила шведскому сейму, что она объявила своего племянника наследником русского престола и что она держалась предварительных статей мира в Або, который назначал Швеции предполагаемым наследником короны принца-правителя Голштинии. (Этот принц имел брата, с которым императрица Елисавета была помолвлена после смерти Петра I. Этот брак не состоялся, потому что принц умер от оспы через несколько недель после обручения; императрица Елисавета сохранила о нем очень трогательное воспоминание и давала тому доказательства всей семье этого принца.)

Итак, Петр III был объявлен наследником Елисаветы и Русским Великим Князем, вслед за исповеданием своей веры по обряду православной

церкви; в наставники ему дали Симеона Теодорского, ставшего потом Архиепископом Псковским. Этот принц был крещен и воспитан по лютеранскому обряду, самому суровому и наименее терпимому, так как с детства он всегда был неподатлив для всякого назидания.

Я слышала от его приближенных, что в Киле стоило величайшего труда посылать его в церковь по воскресеньям и праздникам и побуждать его к исполнению обрядностей, какие от него требовали, и что он большей частью проявлял неверие. Его Высочество позволял себе спорить с Симеоном Теодорским относительно каждого пункта; часто призывались его приближенные, чтобы решительно прервать схватку и умерить пыл, какой в нее вносили; наконец, с большой горечью, он покорялся тому, чего желала императрица, его тетка, хотя он и не раз давал почувствовать — по предубеждению ли, по привычке ли, или из духа противоречия, — что предпочел бы уехать в Швецию, чем оставаться в России. Он держал при себе Брюммера, Бергхольца и своих голштинских приближенных вплоть до своей женитьбы; к ним прибавили, для формы, нескольких учителей: одного, Исаака Веселовского, для русского языка — он изредка приходил к нему вначале, а потом и вовсе не стал ходить; другого — профессора Штелина, который должен был обучать его

математике и истории, а в сущности играл с ним и служил ему чуть не шутом. Самым усердным учителем был Ланге, балетмейстер, учивший его танцам.

В своих внутренних покоях великий князь в ту пору только и занимался, что устраивал военные учения с кучкой людей, данных ему для комнатных услуг; он то раздавал им чины и отличия, то лишал их всего, смотря по тому, как вздумается. Это были настоящие детские игры и постоянное ребячество; вообще, он был еще очень ребячлив, хотя ему минуло шестнадцать лет в 1744 году, когда русский двор находился в Москве. В этом именно году Екатерина II прибыла со своей матерью 9 февраля в Москву. Русский двор был тогда разделен на два больших лагеря, или партии. Во главе первой, начинавшей подниматься после своего упадка, был вице-канцлер, граф Бестужев-Рюмин; его несравненно больше боялись, чем любили; это был чрезвычайный пройдоха, подозрительный, твердый и неустрашимый, по своим убеждениям довольно-таки властный, враг непримиримый, но друг своих друзей, которых оставлял лишь тогда, когда они повертывались к нему спиной, впрочем, неуживчивый и часто мелочный. Он стоял во главе Коллегии иностранных дел; в борьбе с приближенными императрицы он, перед поездкой в Москву, потерпел урон, но начинал оправляться; он



держался Венского двора, Саксонского и Англии. Приезд Екатерины II и ее матери не доставлял ему удовольствия. Это было тайное дело враждебной ему партии; враги графа Бестужева были в большом числе, но он их всех заставлял дрожать. Он имел над ними преимущество своего положения и характера, которое давало ему значительный перевес над политиками передней.

Враждебная Бестужеву партия держалась Франции, Швеции, пользовавшейся покровительством ее, и короля Прусского; маркиз де ла Шетарди был ее душою, а двор, прибывший из Голштинии, — матадорами; они привлекли графа Лестока, одного из главных деятелей переворота, который возвел покойную императрицу Елисавету на Русский престол. Этот последний пользовался большим ее доверием; он был ее хирургом с кончины Екатерины I, при которой находился, и оказывал матери и дочери существенные услуги; у него не было недостатка ни в уме, ни в уловках, ни в пронырстве, но он был зол и сердцем черен и гадок. Все эти иностранцы поддерживали друг друга и выдвигали вперед графа Михаила Воронцова, который тоже принимал участие в перевороте и сопровождал Елисавету в ту ночь, когда она вступила на престол. Она заставила его жениться на племяннице императрицы Екатерины I, графине Анне Карловне Скавронской,

которая была воспитана с императрицей Елисаветой и была к ней очень привязана.

К этой партии примкнул еще граф Александр Румянцев, отец фельдмаршала, подписавший в Або мир со шведами, о котором не очень-то совещались с Бестужевым. Они рассчитывали еще на генерал-прокурора князя Трубецкого, на всю семью Трубецких и, следовательно, на принца Гессен-Гомбургского, женатого на принцессе этого дома. Этот принц Гессен-Гомбургский, пользовавшийся тогда большим уважением, сам по себе был ничто, и значение его зависело от многочисленной родни его жены, коей отец и мать были еще живы; эта последняя имела очень большой вес. Остальных приближенных императрицы составляли тогда семья Шуваловых, которые колебались на каждом шагу, обер-егермейстер Разумовский, который в то время был признанным фаворитом, и один епископ. Граф Бестужев умел извлекать из них пользу, но его главной опорой был барон Черкасов, секретарь Кабинета императрицы, служивший раньше в Кабинете Петра I. Это был человек грубый и упрямый, требовавший порядка и справедливости и соблюдения во всяком деле правил.

Остальные придворные становились то на ту, то на другую сторону, смотря по своим интересам и

повседневным видам. Великий князь, казалось, был рад приезду моей матери и моему.



*Екатерина II в возрасте 16 лет*

Мне шел пятнадцатый год; в течение первых десяти дней он был очень занят мною; тут же и в течение этого короткого промежутка времени я увидела и поняла, что он не очень ценит народ, над которым ему суждено было царствовать, что он

держался лютеранства, не любил своих приближенных и был очень ребячлив. Я молчала и слушала, чем снискала его доверие; помню, он мне сказал, между прочим, что ему больше всего нравится во мне то, что я его троюродная сестра, и что в качестве родственника он может говорить со мной по душе, после чего сказал, что влюблен в одну из фрейлин императрицы, которая была удалена тогда от двора ввиду несчастья ее матери, некоей Лопухиной, сосланной в Сибирь; что ему хотелось бы на ней жениться, но что он покоряется необходимости жениться на мне, потому что его тетка того желает.

Я слушала, краснея, эти родственные разговоры, благодаря его за скорое доверие, но в глубине души я взирала с изумлением на его неразумие и недостаток суждения о многих вещах.

На десятый день после моего приезда в Москву как-то в субботу императрица уехала в Троицкий монастырь. Великий князь остался с нами в Москве. Мне дали уже троих учителей: одного, Симеона Теодорского, чтобы наставлять меня в православной вере; другого, Василия Ададунова, для русского языка, и Ланге, балетмейстера, для танцев. Чтобы сделать более быстрые успехи в русском языке, я вставала ночью с постели и, пока все спали, заучивала наизусть тетради, которые оставлял мне Ададунов; так как

комната моя была теплая и я вовсе не освоилась с климатом, то я не обувалась — как вставала с постели, так и училась.

На тринадцатый день я схватила плеврит, от которого чуть не умерла. Он открылся ознобом, который я почувствовала во вторник после отъезда императрицы в Троицкий монастырь: в ту минуту, как я оделась, чтобы идти обедать с матерью к великому князю, я с трудом получила от матери позволение пойти лечь в постель. Когда она вернулась с обеда, она нашла меня почти без сознания, в сильном жару и с невыносимой болью в боку. Она вообразила, что у меня будет оспа: послала за докторами и хотела, чтобы они лечили меня сообразно с этим; они утверждали, что мне надо пустить кровь; мать ни за что не хотела на это согласиться; она говорила, что доктора дали умереть ее брату в России от оспы, пуская ему кровь, и что она не хотела, чтобы со мной случилось то же самое.

Доктора и приближенные великого князя, у которого еще не было оспы, послали в точности доложить императрице о положении дела, и я оставалась в постели, между матерью и докторами, которые спорили между собою. Я была без памяти, в сильном жару и с болью в боку, которая заставляла меня ужасно страдать и издавать стоны,

за которые мать меня бранила, желая, чтобы я терпеливо сносила боль.

Наконец, в субботу вечером, в семь часов, то есть на пятый день моей болезни, императрица вернулась из Троицкого монастыря и прямо по выходе из кареты вошла в мою комнату и нашла меня без сознания. За ней следовали граф Лесток и хирург; выслушав мнение докторов, она села сама у изголовья моей постели и велела пустить мне кровь. В ту минуту, как кровь хлынула, я пришла в себя и, открыв глаза, увидела себя на руках у императрицы, которая меня приподнимала.

Я оставалась между жизнью и смертью в течение двадцати семи дней, в продолжение которых мне пускали кровь шестнадцать раз и иногда по четыре раза в день. Мать почти не пускали больше в мою комнату; она по-прежнему была против этих частых кровопусканий и громко говорила, что меня уморят; однако она начинала убеждаться, что у меня не будет оспы.

Императрица приставила ко мне графиню Румянцеву и несколько других женщин, и ясно было, что суждению матери не доверяли. Наконец, нарыв, который был у меня в правом боку, лопнул, благодаря стараниям доктора-португальца Санхеца; я его выплюнула со рвотой, и с этой минуты я пришла в себя; я тотчас же заметила, что поведение

матери во время моей болезни повредило ей во мнении всех.

Когда она увидела, что мне очень плохо, она захотела, чтобы ко мне пригласили лютеранского священника; говорят, меня привели в чувство или воспользовались минутой, когда я пришла в себя, чтобы мне предложить это, и что я ответила: «Зачем же? Пошлите лучше за Симеоном Теодорским, я охотно с ним поговорю». Его привели ко мне, и он при всех так поговорил со мной, что все были довольны. Это очень подняло меня во мнении императрицы и всего двора.

Другое очень ничтожное обстоятельство еще повредило матери. Около Пасхи, однажды утром, матери вздумалось прислать сказать мне с горничной, чтобы я ей уступила голубую с серебром материю, которую брат отца подарил мне перед моим отъездом в Россию, потому что она мне очень понравилась. Я велела ей сказать, что она вольна ее взять, но что, право, я ее очень люблю, потому что дядя мне ее подарил, видя, что она мне нравится. Окружавшие меня, видя, что я отдаю материю скрепя сердце, и ввиду того, что я так долго лежу в постели, находясь между жизнью и смертью, и что мне стало лучше всего дня два, стали между собою говорить, что весьма неразумно со стороны матери причинять умирающему ребенку малейшее неудовольствие и что вместо желания

отобрать эту материю она лучше бы сделала, не упоминая о ней вовсе.

Пошли рассказать это императрице, которая немедленно прислала мне несколько кусков богатых и роскошных материй и, между прочим, одну голубую с серебром; это повредило матери в глазах императрицы: ее обвинили в том, что у нее вовсе нет нежности ко мне, ни бережности. Я привыкла во время болезни лежать с закрытыми глазами; думали, что я сплю, и тогда графиня Румянцева и находившиеся при мне женщины говорили между собой о том, что у них было на душе, и таким образом я узнавала массу вещей.

Когда мне стало лучше, великий князь стал приходить проводить вечера в комнате матери, которая была также и моею. Он и все, казалось, следили с живейшим участием за моим состоянием. Императрица часто проливала об этом слезы.

Наконец, 21 апреля 1744 года, в день моего рождения, когда мне пошел пятнадцатый год, я была в состоянии появиться в обществе, в первый раз после этой ужасной болезни. Я думаю, что не слишком-то довольны были моим видом: я похудела, как скелет, выросла, но лицо и черты мои удлиннились; волосы у меня падали, и я была бледна смертельно. Я сама находила, что страшна, как пугало, и не могла узнать себя. Императрица



прислала мне в этот день банку румян и приказала нарумяниться.

С наступлением весны и хорошей погоды великий князь перестал ежедневно посещать нас; он предпочитал гулять и стрелять в окрестностях Москвы. Иногда, однако, он приходил к нам обедать или ужинать, и тогда снова продолжались его ребяческие откровенности со мною, между тем как его приближенные беседовали с матерью, у которой бывало много народу и шли всевозможные пересуды, которые не нравились тем, кто в них не участвовал, и, между прочим, графу Бестужеву, коего враги все собирались у нас; в числе их был маркиз де ла Шетарди, который еще не воспользовался ни одним полномочием французского двора, но имел свои верительные посольские грамоты в кармане.

В мае месяце императрица снова уехала в Троицкий монастырь, куда мы с великим князем и матерью за ней последовали. Императрица стала с некоторых пор очень холодно обращаться с матерью; в Троицком монастыре выяснилась причина этого. Как-то после обеда, когда великий князь был у нас в комнате, императрица вошла внезапно и велела матери идти за ней в другую комнату. Граф Лесток тоже вошел туда; мы с великим князем сели на окно, выжидая.

Разговор этот продолжался очень долго, и мы видели, как вышел Лесток; проходя, он подошел к великому князю и ко мне — а мы смеялись — и сказал нам: «Этому шумному веселью сейчас конец»; потом, повернувшись ко мне, он сказал: «Вам остается только укладываться, вы тотчас отправитесь, чтобы вернуться к себе домой». Великий князь хотел узнать, как это; он ответил: «Об этом после узнаете», и ушел исполнять поручение, которое было на него возложено и которого я не знаю. Великому князю и мне он предоставил размыслить над тем, что он нам только что сказал; первый рассуждал вслух, я — про себя. Он сказал: «Но если ваша мать и виновата, то вы не виновны», я ему ответила: «Долг мой — следовать за матерью и делать то, что она прикажет».

Я увидела ясно, что он покинул бы меня без сожаленья; что меня касается, то, ввиду его настроения, он был для меня почти безразличен, но не безразлична была для меня русская корона. Наконец, дверь спальни отворилась, и императрица вышла оттуда с лицом очень красным и с видом разгневанным, а мать шла за нею с красными глазами и в слезах. Так как мы спешили спуститься с окна, на которое влезли и которое было довольно высоко, то у императрицы это вызвало улыбку, и она поцеловала нас обоих и ушла.

Когда она вышла, мы узнали приблизительно, в чем было дело. Маркиз де ла Шетарди, который прежде, или, вернее сказать, в первое свое путешествие, или миссию в Россию, пользовался большою милостью и доверием императрицы, в этот второй приезд или миссию очень обманулся во всех своих надеждах. Разговоры его были скромнее, чем письма; эти последние были полны самой едкой желчи; их вскрыли и разобрали шифр; в них нашли подробности его бесед с матерью и многими другими лицами о современных делах, разговоры насчет императрицы заключали выражения малоосторожные.

Граф Бестужев не преминул вручить их императрице, и так как маркиз де ла Шетарди не объявил еще ни одного из своих полномочий, то дан был приказ выслать его из империи; у него отняли орден Св. Андрея и портрет императрицы, но оставили все другие подарки из брильянтов, какие он имел от этой государыни. Не знаю, удалось ли матери оправдаться в глазах императрицы, но, как бы то ни было, мы не уехали; с матерью, однако, продолжали обращаться очень сдержанно и холодно. Не знаю, что говорилось между нею и де ла Шетарди, но знаю, что однажды он обратился ко мне и поздравил, что я причесана *en Moÿse*; я ему сказала, что в угоду императрице буду причесываться на все фасоны, какие могут ей

понравиться; когда он услышал мой ответ, он сделал пируэт налево, ушел в другую сторону и больше ко мне не обращался.

Вернувшись с великим князем в Москву, мы с матерью стали жить более замкнуто; у нас бывало меньше народу и меня готовили к исповеданию веры. 28 июня было назначено для этой церемонии и следующий день, Петров день, — для моего обручения с великим князем. Помню, что гофмаршал Брюммер обращался ко мне в это время несколько раз, жалуясь на своего воспитанника, и хотел воспользоваться мною, чтобы исправить и образумить своего великого князя; но я сказала ему, что это для меня невозможно и что я этим только стану ему столь же ненавистна, как уже были ненавистны все его приближенные.

В это время мать очень сблизилась с принцем и принцессой Гессенскими и еще больше с братом последней, камергером Бецким. Эта связь не нравилась графине Румянцевой, гофмаршалу Брюммеру и всем остальным; в то время как мать была с ними в своей комнате, мы с великим князем возились в передней, и она была в полном нашем распоряжении; у нас обоих не было недостатка в ребяческой живости.

В июле месяце императрица праздновала в Москве мир со Швецией, и по случаю этого праздника она составила мне двор, как обрученной

Русской великой княжне, и тотчас после этого праздника императрица отправила нас в Киев. Она сама отправилась через несколько дней после нас. Мы ехали понемногу за день: мать, я, графиня Румянцева и одна из фрейлин матери — в одной карете; великий князь, Брюммер, Бергхольц и Дукер — в другой. Как-то днем великий князь, скучавший со своими педагогами, захотел ехать с матерью и со мной; с тех пор как он это сделал, он не захотел больше выходить из нашей кареты. Тогда мать, которой скучно было ехать с ним и со мною целые дни, придумала увеличить компанию. Она сообщила свою мысль молодым людям из нашей свиты, между которыми находились князь Голицын, впоследствии фельдмаршал, и граф Захар Чернышев; взяли одну из повозок с нашими постелями; приладили отовсюду кругом скамейки, и на следующий же день мать, великий князь и я, князь Голицын, граф Чернышев и еще одна или две дамы помоложе из свиты поместились в ней, и, таким образом, мы совершили остальную часть поездки очень весело, насколько это касалось нашей повозки; но все, что не имело входа туда, восстало против такой затеи, которая особенно не нравилась обер-гофмаршалу Брюммеру, обер-камергеру Бергхольцу, графине Румянцевой, фрейлине матери и также всей остальной свите, ибо они никогда туда не допускались, и, между тем как

мы смеялись дорогой, они бранились и скучали. При таком положении вещей мы прибыли через три недели в Козелец, где еще три недели ждали императрицу, коей поездка замедлилась дорогой вследствие некоторых приключений. Мы узнали в Козельце, что с дороги было сослано несколько лиц из свиты императрицы и что она была в очень дурном расположении духа.

Наконец, в половине августа, она прибыла в Козелец; мы еще оставались с ней там до конца августа. Тут вели с утра до вечера крупную игру в фараон в большой зале, посередине дома; в остальных помещениях всем приходилось очень тесно: мы с матерью спали в одной общей комнате, графиня Румянцева и фрейлина матери — в передней, и так далее. Однажды великий князь пришел в комнату матери и в мою также, в то время как мать писала, а возле нее стояла открытая шкатулка; он захотел в ней порыться из любопытства; мать сказала, чтобы он не трогал, и он, действительно, стал прыгать по комнате в другой стороне, но, прыгая то туда, то сюда, чтобы насмешить меня, он задел за крышку открытой шкатулки и уронил ее; мать тогда рассердилась, и они стали крупно браниться; мать упрекала его за то, что он нарочно опрокинул шкатулку, а он жаловался на несправедливость, и оба они обращались ко мне, требуя моего подтверждения;